

История семьи Стерниных

Хочу вспомнить своих дорогих родителей - маму и отца, которых я, к сожалению помню только по детским впечатлениям, поскольку очень рано, в 14 лет, уехал из дома.

Мы жили в Витебске. У нас была типичная для начала XX века еврейская семья, весьма небогатая, но большая и дружная и очень родственная. В семье было пятеро детей, а также с нами жил мамин племянник, сын одной из маминых сестер.

Моя мама, которую звали Сима (Шиме) Темкина, была родом из города Чауссы Витебской области. Как она познакомилась с моим папой, я не знаю, но помню такую подробность - иногда она говорила папе: "А помнишь, ты мне писал!" и папа почему-то всегда очень смущался при этих словах. Видимо, старику казалось неловким вспоминать нежные слова, которые он писал в молодости своей невесте. Помню ее - высокую, неизменно в черном платье (никогда в цветном!), длинные волосы, завязанные в клубок на голове. Она не была шумной, но если говорила, то довольно громко.

Мама читала и писала по-еврейски, но за всю жизнь я не получил от нее ни одного письма - по-русски она читать и писать так и не научилась. Когда я уехал из дома, я часто писал письма на ее имя, которые ей читал отец, а также мои сестры Бейля и Рива. Она подозревала, что ее младший Абрашенька болеет, но ей об этом не говорят, и заставляла разных людей читать ей мои письма. Она меня очень любила, я был младший ребенок в семье - "мизиник" (мама родила меня в сорок лет).

У нас в доме была няня и работница - Дуня, очень хорошая, добрая женщина. У нее была слабость к выпивке, выпивала она очень часто, но родители ее не увольняли, так как жалели ее. И еще потому, наверно, что она очень любила меня, самого маленького, всегда меня хвалила и хорошо обо мне всем говорила. Однажды за что-то ее посадили на месяц в тюрьму, у нее родственников никого не было, и я помню, как мы с сестрой ходили ее проведывать, носили ей передачу.

Она водила меня гулять, и помню, как мы с ней вместе с ее ухажером (она его называла «кум») и подругой Машкой ходили в кабак. Они все вместе сидели за столом и пили, меня посадили на стол, и я спокойно сидел, пока они выпивали и наблюдал за ними и кабацкой жизнью, мне было очень интересно.

Я свою няню любил и всегда защищал. Как-то к нам пришел доктор и что-то сказал неодобрительное о Дусе, так я, маленький, схватил кочергу и хотел его ударить за это. Надо мной в семье подтрунивали из-за моей привязанности к Дуне - когда хотели меня подразнить, говорили: - "А Дуня-то старая!", а я тут же вступался за нее и громко, с вызовом

провозглашал: “Евдокия Ивановна Архипова - молодая!”

Когда я уже жил в Москве, работал там и приезжал домой (Дуня уже работала в другой семье), я как-то поехал с вокзала домой с шиком - на извозчике, причем не на обычном, а “на дутых” - с надутыми шинами. По дороге увидел на улице Дуню и пригласил ее в коляску, довез до дома. На нее это произвело огромное впечатление, она потом всем хвасталась: “Меня Абрашенька на дутых прокатил!”

Дуня жила у нас в доме и в течение дня была за старшую. Она готовила днем дома еду вместе с моими старшими сестрами Бейлей и Ривой, потому что мамы и папы весь день не было - они работали в своей лавке. На нашей улице, где я жил, все были торговцами.

Торговцев-евреев власть притесняла. Помню, какую роль играл до революции в Витебске губернатор Зуев - об этом говорили все в семье и на улице. Он, например, издал распоряжение, чтобы все лавки евреев в субботу работали - православные имеют право покупать и в субботу. Жаловалась еврейская община в С.-Петербург, но оттуда пришло письмо - “на рассмотрение губернатора”. Для евреев соблюдение субботы - важнейшая религиозная заповедь, приходилось выкручиваться - оставлять в лавке малолетних или нанимать на субботу православных. Община приглашала Зуева прийти в синагогу, чтобы он убедился в правоте евреев, чтобы увидел, что евреи в синагоге молятся за царя. В конце концов ему пришлось свое распоряжение об объявлении субботы у евреев рабочим днем отменить.

В нашей лавке продавались мука, зерно, овес, жмых. На вывеске над лавкой официально было написано “Бакалея”. Помню, прямо у входа, напротив двери, на прилавке стояла большая железная банка, на которой было написано “Монпансье”, она была наполнена конфетами, которые всегда нам, детям, так хотелось попробовать. Но торговля шла неважно. Мама нас, своих детей, никогда из этой банки не угощала.

Лавка была частью большого торгового помещения, которое называлось брома. Это был отдельный дом на 8-10 лавочников на рынке на Смоленской площади Витебска, в который были входы со всех сторон. Лавка отца (он арендовал в броне помещение) была маленькая, и в нее был самый неудобный вход - сзади, с нелюдной стороны. Маму мне очень было жалко - она очень мерзла в лавке в холодную погоду, но сидеть в лавке надо было безвылазно - а вдруг придет покупатель или привезут муку.

Приходила мама домой часов в 5-6 вечера, очень усталая, и тогда начинала готовить ужин. До 11 вечера она была на кухне. Она нередко ругалась с дочерьми - очень не любила, когда дома что-то делось не так, при этом всегда жаловалась на здоровье: “Вы не знаете мое сердце!”. Меня как младшего она любила больше других, называла меня “мой сочувственер зун” (мой сочувственный сын). Как-то я приехал из Москвы в то же самое время, когда Сталин навестил свою мать в Тбилиси - все газеты об этом сообщили. Мама мне сказала: “Вот Сталин молодец,

доставил радость своей матери. А ты мне доставил радость, что приехал!”.

Мама было не до бога, но основные религиозные обряды она соблюдала.

В январе 1924 года - 1 или 2 января, сейчас не помню, я уезжал в Москву, к старшему брату Исааку. Мне не было еще 15 лет. Мама легла на “диванчик плача” - был у нас такой небольшой диванчик, на котором мама всегда плакала, когда кто-нибудь из нас уезжал. Я помню, как сказал ей: “Мама, не плачь, мне там будет лучше”. Я ведь был по тогдашнему определению “сын торговца”, “сын мелкого буржуа”, а тогда прижимали и самих торговцев, и их детей. Даже в пионеры таких, как я, в Витебске не принимали.

Поэтому я и решил уехать к брату, в столицу. В Москве 21 января я уже был пионером, вошел в актив пионерской организации, а в феврале уже представлял свой отряд - принимал в подарок барабан от журналиста Михаила Кольцова. В Москве были более либеральные порядки.

Часто я приезжал из Москвы к родителям рано утром, без предупреждения. Вообще, я сейчас понимаю, что недостаточно уделял внимания своим родителям - я был увлечен учебой, работой, московской общественной жизнью. Хотя, конечно, я очень любил своих родителей.

Мама моя умерла в 1936 году, в мае. Исаак не мог приехать на похороны, были мы с Бейлей. Я работал журналистом в Виннице, и мне написала потом туда сестра Рива: “Над кладбищем прошел дождь, на маминой могиле хорошо выросли цветы”.

В 1976 г., когда я вышел на пенсию, мы с женой Любой ездили в Витебск. Могилу мамы мы не нашли - все разрушили немцы.

Расскажу теперь о своем папе.

Папа был маленького роста, с рыжеватой бородкой. Отец его, мой дедушка, которого я не видел - он умер до моего рождения - тоже был торговцем, и я о нем ничего больше не знаю.

Мой отец страдал грыжей, но в лавке мешки с мукой принимал, таскал и грузил в основном сам. Помню, как он, невысокого роста, подходит и подставляет под мешок свою широкую спину, а затем, согнувшись, тащит мешок в лавку. Эта картина у меня с детства стоит перед глазами.

Папа был тихим, простым, скромным человеком, он не расширял свою торговлю. Его называли “мелькремер” - мучной торговец. Он многим отпускал товар в кредит, не был прижимистым или скрягой. Мама его за это часто ругала - мол, ты думаешь о других, а должен думать в первую очередь о нас.

Отец был малообразованным, но при этом читал русские газеты, выписывал даже “Витебский рабочий”.

Его выбрали контролером доходов по линии райфинотдела. Он должен был контролировать налоговые декларации торговцев в округе - должен был заверять, что декларации правильные. Не помню ни одного конфликта или скандала в связи с этой папиной должностью, он работал хорошо и справедливо.

Когда НЭП прикрыли, то пришел конец его мучной торговле.

Образования или какой-нибудь профессии у папы не было. Он пошел работать сторожем, потом работал нефтераздатчиком на железной дороге.

Отец умел читать и писать и по-еврейски, и по-русски.

Один раз в неделю по субботам папа ходил в синагогу. Там у него было свое купленное место - это был признак некоторой зажиточности, социального статуса верующего еврея. Синагога продавала места - это был один из источников ее существования. Раз в год проводился аукцион мест в синагоге - кто даст больше, тот и получал место. Папа, помню, обычно проходил последним - его место было самое дешевое, у самого выхода, но на спинке стула было все-таки его имя. Он не был очень религиозным, просто он старался не допускать нарушения религиозных правил.

Отцу как всем торговцам ГПУ назначило как-то сдать государству имеющееся в семьях золото. Какое там было золото у нас - какие-то колечки мамины, сережки. Отец не сдал ничего, и его арестовали и посадили в тюрьму. Три дня он сидел в камере. Вызвали маму: "Не мучайте Иосифа, он у вас такой славный старик!" - посоветовал ей гэпэушник. "Сима, отдай им", - сказал ей отец по-еврейски. Она принесла, и его выпустили.

Отец никогда не пил. Он очень хотел, чтобы его дети имели другую профессию, нежели он. По характеру он был веселый, любил пошутить, посмеяться - я в него пошел по этой линии.

Отец дома после работы ничего не делал. Вечером он иногда молился, но не всегда, а вот женщины молились каждый день.

В конце жизни отец жил в Витебске с дочерью Ривой, почувствовал себя плохо и дал всем детям телеграммы. Приехали все - я, Исаак и Бейля. Умер папа в Москве в 1937 г. после операции, похоронен под Москвой на еврейском кладбище в Малаховке.

Как мы жили во времена моего детства?

Наш дом на Петровской, 15 был деревянный, одноэтажный, принадлежал моему папе. В войну наш дом сгорел, приезжала моя племянница Рая после войны и нашла несгоревшую металлическую кровать и какие-то металлические детали - вот и все, что оставили после себя немцы.

У нас около дома был огород, который поддерживал нашу семью. Были куры, иногда - индюшки. Индюков я всегда дразнил, меня за это ругали.

Одевались все чисто, но без всякой роскоши. Мама, как я уже писал, ходила всегда в темном. Наша семья не бедовала, но жили очень скромно, всех наших доходов как раз хватало на жизнь.

Раз в год привозили 5-8 кубометров дров. Я любил отрывать березовую кору с бревен, но колоть дрова меня не приучили. Колоть дрова обычно нанимали мужика, а я складывал дрова в сарай.

Осенью квасили капусту, "в сезон" звали соседей на подмогу - так было принято в округе - и вместе резали кочаны. На зиму запасали яблоки. Во дворе было два сарая - один для дров, другой для продуктов.

Дома в русской печи всегда пекли хлеб. Хлеб продавался, его можно

было купить, но печь самим было дешевле, и было принято иметь свой хлеб. Когда пекли маленькие белые хлебцы, мне всегда как маленькому давали первому. На праздники позволяли себе роскошь, покупали кухен - пирожные.

В быту дома все говорили по-еврейски. Все религиозные праздники в семье справлялись.

Перед пасхой все мужчины должны были читать вслух из религиозной книги “Агода” - об исходе евреев из Египта, она была на иврите и на русском языке. Это надо было читать перед сейдер - днем, когда заседали божества. Мы все читали с большими пропусками, выполняя эту повинность, все читали вслух, каждый по своей книге, одновременно - никакого сознательного отношения к этим религиозным книгам не было ни у нас, мальчиков, ни у старших мужчин.

Кто же жил в нашей семье?

У меня было два брата - Зелик и Исаак и две сестры - Бейля и Рива. Я в семье был самым младшим.

Старший брат Зелик был несчастливым человеком, в жизни ему не везло. В 14-15 лет его отправили в Ригу к родственникам - как тогда было принято делать, чтобы вышел в люди, стал самостоятельным и разбогател по возможности. Ничего у него там не вышло, вернулся без копейки домой, и его все время спрашивали, подтрунивая: - “Ну где же твой рижский багаж?” В семье долго жила эта шутка про рижский багаж.

Судьба Зелика сложилась трагически и я даже не знаю, как закончилась его жизнь. В империалистическую войну он работал на оборонном заводе в Орле (помню, привез как-то домой пустую гранату). В гражданскую войну он был не то в Харькове, не то в Киеве, где тоже работал на заводе, но с гражданской войны не вернулся и его судьбы я не знаю. Сестра Бейля говорила: “Он был анархистом, у него был наган”. А когда НКВД арестовал моего брата Исаака, они ему говорили про Зелика: “Он не погиб, а ушел к белым”. Правду теперь мы не узнаем.

Средний брат Исаак был очень способным человеком. Он имел прозвище “журналист” - много читал, все время приносил домой книги. Помню, он лет в 12 читал тайком Шерлока Холмса или Ната Пинкертон, точно не помню, а в то время это считалось “развратом”. Отец увидел и разорвал книгу. Помню, как плакал мой брат - книга была чужая. Он учился сначала в ремесленном училище. Учился хорошо, но когда ему было 12 или 13 лет, он за компанию с друзьями-двоечниками залез в учительскую, где они выкрали журнал с двойками и утопили его в речке. Их всех исключили из училища. Отец очень хотел, чтобы Исаак окончил гимназию, но евреев туда не брали - была строго ограниченная норма приема евреев (два или три процента) и эти проценты принадлежали, конечно же, детям богачей. Директором гимназии в Витебске был Неруш, латыш по национальности. Отец ходил к нему и предлагал взятку - 300 рублей, чтобы взяли сына. Неруш ему сказал: - Мне 3000 предлагают, я и то не беру. В результате Исаак закончил обычную школу, из которой был

путь один - работать. Он пошел на производство, и там в конце концов получил рабочую рекомендацию на рабфак, что и позволило потом поступить в Москве в институт.

Исаак стал крупным специалистом в области производства цемента, написал несколько книг, которые до сих пор можно найти в Москве в бывшей Ленинской библиотеке. Они до недавнего времени еще использовались в строительных вузах. Судьба его сложилась трагически - он был репрессирован и погиб в сталинских застенках.

В настоящее время полностью реабилитирован, По данным «Мемориала» он был расстрелян в 1938 г. в Москве, был сброшен в яму с остальными расстрелянными, могилы у него нет.

Об образовании девочек тогда не думали. Бейля училась в прогимназии, но когда я родился, ее забрали из гимназии нянчить меня. Рива год проучилась и сама бросила учебу, никто и не думал ее заставлять учиться дальше. Девочкам была одна дорога - замужество.

Моя старшая сестра Бейля вышла замуж в 18 лет. История ее замужества была романтической и даже поначалу трагической. Ее жених Ефим Месежник считался бедным (хотя его отец был вообще-то богаче нас, он был умелый и известный кузнец) и Бейлю не хотели за него отдавать. Бейля грозила уйти из дома, отравиться. Один раз она, когда родителей не было дома - были я, сестра и няня - завернула какую-то бутылочку, сказала мне “Прощай, Абрашенька!” - попрощалась только со мной - и ушла из дома. Все-таки она вышла замуж за Ефима, родители вынуждены были согласиться. Кстати, потом никогда не жалели - Ефим был прекрасным мужем и отцом.

Свадьба, первая в нашей семье, была большой - гостей было человек 100, справляли ее в городской гостинице. Мне было 6 лет, я вечером, часов в девять, ехал, нарядно одетый, в трамвае и кондуктор меня спросил “А куда ты едешь?” “К Бельке на свадьбу” - с гордостью сказал я под хохот всех пассажиров.

Помню большой зал, в центре которого стояло высокое кресло, нарядная Бейля, музыка. Выходит жених - с черными усиками и как мне показалось, чрезвычайно бледный. Он идет по дорожке к креслу и несет шаль, невеста плачет - так положено. Он подходит к невесте, сидящей в кресле и накрывает ей шалью лицо. Я помню, что тоже плакал - “Ефим Бейлю увозит”. Семейная жизнь ее сложилась хорошо, они прожили долгую жизнь, родили трех дочерей - Евгению, Анну и Зину.

Когда другая моя сестра Рива выходила замуж, свадьба была уже дома. Ее муж, Юрий Яковлевич Ханин, был замечательным человеком, всю жизнь проработал рабочим. По нему также прокатилось страшное сталинское “красное колесо” - 20 лет провел он в лагерях по обвинению в троцкизме (рассказывал, что была предъявлена фотография, на которой он сидит в президиуме какого-то рабочего собрания, а за спиной портреты Ленина и Троцкого, так он сидел под портретом Троцкого), вернулся с подорванным здоровьем и недолго прожил. Он говорил: «Хрущев спас мне

жизнь». У них было двое дочерей - Рая и Елизавета .

По еврейской традиции, в нашей семье, как и во многих других семьях, жили бедные родственники. Так, в нас жил в семье Исер Явич - племянник мамы. У него было прозвище “Дер дайч” (немец), он был очень аккуратным, подчеркнуто опрятно одевался, все время чистил одежду. В 1914 г. его забрали на войну, мама легла на “диванчик плача” и очень плакала как о сыне. Через какое-то время он вернулся из окопов - черный, измученный, истощенный. Его уволили из армии по болезни. В семье была большая радость, что Исерка вернулся и опять живет с нами.

Он был очень толковый парень, умный, очень трудолюбивый. Его женили на девушке из трудной семьи - Циве. У Цивы не было родителей. Она жила у своей тетки, Леи Зеликовны Вымениц, старшей сестры моего отца.

Исер и Цива переехали в Москву, Исер работал кондуктором в троллейбусе, а Цива всю жизнь проработала в аптеке. У них был сын Ося, прекрасный мальчик, комсомолец, работал на ЗИЛе и в войну пошел добровольцем на фронт. С войны он не вернулся, пропал без вести. Цива всю жизнь так и не смогла с этим смириться. У нее все время стояла заправленная кровать для Оси - она все верила, что он вернется. Обстоятельства его гибели так и остались неизвестны. Когда у меня родился сын и мы назвали его Иосифом, Циве было неприятно - в еврейской традиции имена дают по умершим родственникам, и хотя мы назвали сына в честь моего покойного отца, ей все равно это, видимо, было неприятно. У меня сохранилось фото, где сняты ее сын и мы с Исааком, моим братом.

В заключение рассказа о своей семье хочу немного коснуться того, какое влияние моя семья, из которой я уехал мальчишкой, оказала на мою жизнь. Я вырос в благоприятной семейной обстановке - у меня были отец, мать, сестры, братья все любили друг друга. Слава богу, никто из родителей не был в то время репрессирован (отец посидел в тюрьме, но всего три дня) и мы выросли с родителями. Нас, детей, любили, о нас заботились. Нас приучили к скромной жизни, никто из нас не стремился к роскоши, богатству любой ценой - мы видели, как достается хлеб нашим родителям, как скромно они живут. Нас приучили заботиться о близких, родственниках помогать друг другу - это сохранилось у нас, детей, на всю жизнь. Все мы, братья и сестры, выросли тружениками. В семье считалось, что мужчины должны получить образование, а девочки - выйти замуж, так и получилось.

Семья мне дала счастливое детство, возможность получить образование. Но семья невольно и лишила нас, детей, некоторых возможностей, хотя это, конечно, совсем не ее вина.

Отец мой был торговцем, а значит - мелким буржуа, и это семейное клеймо- “неправильное” социальное происхождение - наложило отпечаток на всю мою жизнь, принесло мне немало трудностей и огорчений.

Отец был торговцем до революции, продолжал торговать и после

революции, пока не прикрыли НЭП. Образования у него не было (какое мог рядовой еврей получить образование до революции, когда для евреев действовала квота на прием в гимназию), профессии или квалификации тоже не было, больше ничего он делать не умел.

О социальном положении отца мне приходилось многократно отчитываться в самых разных анкетах, и это ограничивало меня в целом ряде прав. В Витебске меня не принимали в пионеры как социально чуждый элемент, в 1931 г. меня не хотели призывать в армию. За сокрытие социального происхождения и “проникновение” в армию отдавали в то время под суд. Комсомольская организация, в которой я состоял и был одним из самых активных членов, посылала специальное письмо в призывную комиссию, где поручалась за меня. В письме было написано, что хотя у меня отец действительно принадлежит к буржуазному сословию, комсомолец Абрам Стернин, тем не менее, с ним не поддерживает никаких отношений (что было, конечно, неправдой) и заслуживает на этом основании призыва в армию. В армию меня в результате призвали.

Вопрос о социальном положении отца задавался очень часто, по разным поводам, самыми разными людьми и на самых разных уровнях. Приходилось выкручиваться. Все время надо было помнить и думать об этом. Вообще, социальное положение отца было пестрым. В семье была легенда, что он до революции начинал как служащий, а только потом стал торговать мукой. Почему легенда - потому что мы, дети, об этом практически ничего не знали, нам в детском возрасте это было неинтересно. А документов никаких не сохранилось.

Меня не принимали в партию - я не мог подать заявление сам, нужно было ждать, чтобы тебе предложили. После войны я такое предложение получил. Естественно, с пристрастием в райкоме выясняли - кем были родители до революции? Я отвечал, что отец был до революции служащим, потом мелким торговцем, а потом сторожем и нефтераздатчиком - о последнем у меня уже был документ (сторож и нефтераздатчик - это уже “социально близкие элементы”). Работник райкома очень допытывался, каким это таким служащим был мой отец до революции - “Кем конкретно работал ваш отец до революции?”. Я отвечал: - ”Конторщиком!”. - “Не было такой профессии! Нет такого социального положения!” Я отвечал: “Он работал на мельнице конторщиком, оформлял оптовые закупки муки. А позже и сам стал продавать муку”. Я в таких случаях всегда говорил, что отец был торговцем до революции, а после революции стал нефтераздатчиком, и предьявлял справку. В партию меня приняли.

Многие-многие люди страдали за свое социальное происхождение в те годы. Немного легче стало после сталинского заявления “Сын за отца не отвечает”, но все равно - социальное происхождение и тогда спрашивать не перестали, и клеймо буржуазного или дворянского происхождения висело над многими людьми долгие годы и ограничивало их в правах.

Я благодарен моим родителям за свое детство, которое по тому времени можно было считать вполне благополучным и счастливым.

В 1946 году я женился на Любви Михайловне Кухаркиной, и началась история уже моей семьи.